



## ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА

Затоварилась бочкотара,  
зацвела желтым цветком,  
затарилась, затюрилась и  
с места стронулась.

*Из газет*

## ПОВЕСТЬ С ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯМИ И СНОВИДЕНИЯМИ

В палисаднике под вечер скопление пчел, жужжание, деловые перелеты с георгина на подсолнух, с табака на резеду, инспекция комнатных левкоев и желтофиолей в открытых окнах; труды, труды в горячем воздухе районного центра.

Вторжение наглых инородцев, жирных навозных мух, пресыщенных мусорной кучей.

Ломкий, как танго, полет на исходе жизни — темнокрылая бабочка — адмирал, почти барон Врангель.

На улице, за палисадником, все еще оседает пыль от прошедшего полчаса назад грузовика.

Хозяин — потомственный рабочий пенсионного возраста, тихо и уютно сидящий на скамейке с цигаркою в желтых, трудно зажатых пальцах, — рассказывает приятелю, почти двойнику, о художествах сына:

— Я совсем атрофировал к нему отцовское отношение. Мы, Телескоповы, сам знаешь, Петр Ильич, по механической части, в лабораторных цехах, слуги индустрии. В четырех коленях, Петр Ильич, как знаешь. Сюда, к идиотизму сельской жизни, возвращаемся на заслуженный отдых, лишь только когда соль в коленях снижает квалификацию, как и вы,

Петр Ильич. А он, Владимир, мой старшой, после армии цыганил неизвестно где почти полную семилетку, вернулся в Питер в совершенно отрицательном виде, голая пьянь, возмущенные глаза. Устроил я его в цех. Талант телескоповский, руки телескоповские, наша, телескоповская голова, льняная и легкая. Глаз стал совершенно художественный. У меня, Петр Ильич, сердце пело, когда мы с Владимиром вместе возвращались с завода, да эх... все опять процыганил... И в кого, сам не пойму. К отцу на пенсионные хлеба прикатил, стыд и позор... зов земли, говорит, родина предков...

— Работает где, ай так шабашит? — спрашивает Петр Ильич.

— Третьего дня в сельпо оформился шофером, стыд и позор. Так с того дня у Симки и сидит в закутке, нарядов нет, не просыхает...

— А в Китае-то, слышал, что делается? — переключает разговор Петр Ильич. — Хунвэйбины фулиганят.

В это время Владимир Телескопов действительно сидит в закутке у буфетчицы Симы, волевой вдовы. Он сидит на опасно скрипучем ящичке из-под мыла, хотя мог бы себе выбрать сиденье понадежней. Вместе с новым дружкой, моряком-черноморцем Глебом Шустиковым, он угощается мандариновой настойкой. На розовой пластмассовой занавеске отчетливо видны их тени и тени стаканчиков с мандариновым огоньком внутри. Профиль Шустикова Глеба чеканен, портретно-плакатен, видно сразу, что будет человек командиром, тогда как профиль Владимира вихраст, курнос, ненадежен. Он покачивается, склоняется к стаканчику, отстраняется от него.

Сима считает у стойки выручку, слышит за спиной косоротые откровения своего избранника.

— ...И он зовет меня, директор-падло, к себе на завод, а я ему говорю, я пьяный, а он мне говорит, я тебя в наш медпункт отведу, там тебя доведут до нормы, а какая у меня квалификация, этого я тебе, Глеб, не скажу...

— Володька, кончай zenки наливать, — говорит Сима. — Завтра повезешь на станцию.

Она отдергивает занавеску и смотрит, улыбаясь, на парней, потягивается своим большим, сладким своим телом.

— Скопилась у меня бочкотара, мальчики, — говорит она томно, многосмысленно, туманно, — скопилась, затоварилась, зацвела желтым цветком... как в газетах пишут...

— Что ж, Серафима Игнатьевна, будьте крепко здоровы, — говорит Шустиков Глеб, пружинисто вставая, поправляя обмундирование. — Завтра отбываю по месту службы. Да вот Володя меня до станции и подбросит.

— Значит, уезжаете, Глеб Иванович, — говорит Сима, делая по закутку ненужные движения, посылая военному моряку улыбочивые взгляды из-за пышных плеч. — Ай-ай, вот девкам горе с вашим отъездом.

— Сильное преувеличение, Серафима Игнатьевна, — улыбается Шустиков Глеб.

Между ними существует тонкое взаимопонимание, а могло бы быть и нечто большее, но ведь Сима не виновата, что еще до приезда на побывку блестящего моряка она полюбила баламута Телескопова. Такова игра природы, судьбы, тайны жизни.

Телескопов Владимир, виновник этой неувязки, не замечает никаких подтекстов, меланхолически углубленный в свои мысли, в банку ряпушки.

Он провожает моряка, долго стоит на крыльце, глядя на бескрайние темнеющие поля, на полосы парного тумана, на колодезные журавли, на узень-

кий серпик, висящий в зеленом небе, как одинокий морской конек.

— Эй, Сережка Есенин, Сережка Есенин, — говорит он месяцу, — видишь меня, Володю Телескопова?

А старшина второй статьи Шустиков Глеб крепкими шагами двигается к клубу. Он знает, что механизаторы что-то затеяли против него в последний вечер, и идет, отчетливый, счастливый, навстречу опасностям.

Темнеет, темнеет, пыль оседает, инсекты угомнились, животные топчутся в дремоте, в мечтах о завтрашней свежей траве, а люди топчутся в танцах, у печей, под окнами своих и чужих домов, что-то шепчут друг другу, какие-то слова: прохвост, любимый, пьяница, проклятый, миленький ты мой...

Стемнело и тут же стало рассветать.

Рафинированный интеллигент Вадим Афанасьевич Дрожжинин также собирался возвращаться по месту службы, то есть в Москву, в одно из внешних культурных учреждений, консультантом которого состоял.

Летним утром в сером дорожном костюме из легкого твида он сидел на веранде лесничества и поджидал машину, которая должна была отвезти его на станцию Коряжск. Вокруг большого стола сидели его деревенские родственники, пришедшие проститься. С тихим благоговением они смотрели на него. Никто так и не решился пригубить чайку, варенца, отведать драники, лишь папа лесничий Дрожжинин шумно ел суточные щи да мама для этикета аккомпанировала ему, едва разжимая строгие губы.

«Все-таки странная у них привычка есть из одной тарелки», — подумал Вадим Афанасьевич, хотя с привычкой этой был знаком уже давно, можно сказать, с рождения.

Он обвел глазами идиллически дрожащий в утреннем свете лес, кусты смородины, близко подступившие к веранде, листья, все в каплях росы, робких и тихих родственников: папина борода-палка попалась, конечно, в поле зрения и мамин гребень в жиденьких волосах, — и тепло улыбнулся. Ему было жаль покидать эту идиллию, тишину, но конечно же жалость эта была мала по сравнению с прелестью размеренно-насыщенной жизни рафинированного холостого интеллигента в Москве.

В конце концов всего, чего он добился, — этого костюма «Фицджеральд и сын, готовая одежда», и ботинок «Хант», и щеточки усов под носом, и полной, абсолютно безукоризненной прямоты, безукоризненных манер, всего этого замечательного англичанства, — он добился сам.

Ах, куда канули бесконечно далекие времена, когда Вадим Афанасьевич в вельветовом костюме и с деревянным чемоданом явился в Москву!

Вадим Афанасьевич никаких звезд с неба хватать не собирался, но он гордился — и заслуженно — своей специальностью, своими знаниями в одной узкой области.

Раскроем карты: он был единственным в своем роде специалистом по маленькой латиноамериканской стране Халигалии.

Никто в мире так живо не интересовался Халигалией, как Вадим Афанасьевич, да еще один француз — викарий из швейцарского кантона Гельвеция. Однако викария больше, конечно, интересовали вопросы религиозно-философского порядка, тогда как круг интересов Вадима Афанасьевича охватывал все стороны жизни Халигалии. Он знал все диалекты этой страны, а их было двадцать восемь, весь фольклор, всю историю, всю экономику, все улицы и закоулки столицы этой страны города Полиса и трех остальных городов, все магазины и лавки на этих

улицах, имена их хозяев и членов их семей, клички и нрав домашних животных, хотя никогда в этой стране не был. Хунта, правившая в Халигалии, не давала Вадиму Афанасьевичу въездной визы, но простые халигалийцы все его знали и любили, по меньшей мере с половиной из них он был в переписке, давал советы по части семейной жизни, урегулировал всякого рода противоречия.

А началось все с обычного усердия. Просто Вадим Афанасьевич хотел стать хорошим специалистом по Халигалии, и он им стал, стал лучшим специалистом, единственным в мире.

С годами усердие перешло в страсть. Мало кто догадывался, а практически никто не догадывался, что сухопарый человек в строгой серой (коричневой) тройке, ежедневно кушающий кофе и яблочный пирог в кафе «Националь», обуреваем страстной любовью к душной, знойной, почти никому не известной стране.

По сути дела, Вадим Афанасьевич жил двойной жизнью, и вторая, халигалийская, жизнь была для него главной. Каждую минуту рабочего и личного времени он думал о чаяниях халигалийского народа, о том, как поженить рабочего велосипедной мастерской Луиса с дочерью ресторатора Кублицки Роситой, страдал от малейшего повышения цен в этой стране, от коррупции и безработицы, думал о закулисной игре хунт, об извечной борьбе народа с аргентинским скотопромышленником Сиракузерсом, наводнившим маленькую беззащитную Халигалию своими мясными консервами, паштетами, бифштексами, вырезками, жюльенами из дичи.

От первой же, основной (казалось бы), жизни Вадима Афанасьевича остался лишь внешний каркас — ну, вот это безукоризненное англичанство, трубка в чехле, лаун-теннис, кофе и чай в «Национале», безошибочные пересечения улицы Арбат и